

РОЛЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКИХ МОДЕРНИЗАЦИЙ

Вопрос о цивилизационной специфике российских стратегий модернизации теснейшим образом связан с осмыслением всего опыта исторического развития России. На наш взгляд, попытки рассматривать историю России как историю страны европейской «полупериферии» и вытекающие из этого представления о стадийном запаздывании российских модернизационных процессов по сравнению с западноевропейскими позволяют объяснить эту специфику разрывом между той гипертрофированно развившейся просвещенно-авторитарной ролью, которую в проведении модернизации играло российское государство, и общей глубиной отсталости социального агрегата российского общества. Отсюда и цивилизационная перспектива русской истории видится главным образом сквозь призму своеобразия тех *специфических институциональных форм*, благодаря которым Россия как «недо-Европа» получает возможность двигаться в догоняющем режиме по пути сближения с развитым европейским «ядром». Способность успешно осуществлять рецепцию европейского опыта и сокращать разрыв с Европой (от полной асинхронности в начале XVIII в. до все более сокращающейся дистанции отставания к концу XIX в.), таким образом, становится важнейшим индикатором для помещения России в рамки европейской цивилизации — пусть даже в качестве ее отсталого, периферийного звена. При этом нетипичный для европейской традиции авторитаризм, который российская власть проявляла в проведении преобразований, находит свое объяснение в более высокой степени сопротивления и инертности аморфного социального материала. Эта объяснительная модель, настаивающая на *европейском происхождении и европейском же характере* российских модернизаций, в целом непротиворечиво соотносится с поступательной динамикой модернизационных процессов от реформ Петра I до

1917 г. Как известно, в российской историографии этот во многом ставший каноническим взгляд на соотношение российских модернизаций с европейским вектором цивилизационного развития детально обоснован в фундаментальном труде Б.Н. Миронова¹.

С позиций неомарксизма, подвергающего критике девелопменталистские теории однолинейного прогресса, возникающее с эпохи Великих географических открытий разделение «мира-системы» на «ядро», «полупериферию» и «периферию» исключает даже для стран «полупериферии» возможность простого воспроизведения европейской траектории модернизации и объективно предопределяет использование ими таких «догоняющих» стратегий ускоренного развития, в которых своеобразно соединялись консервативно-традиционные или, напротив, радикально-революционные мотивы эмансипации от деформирующего влияния международной системы разделения труда и опора на мобилизационные преимущества, которые обуславливались в основном эндогенным потенциалом «самомодернизации». В любом случае это подразумевает включение сильной нелиберальной и *традиционалистской* составляющей в действующий курс модернизации и, таким образом, добавляет аргументов для концептуализации тезиса о *множественности* ее цивилизационных вариантов². После впечатляющих примеров модернизационного «прорыва» в XX в. «новых индустриальных стран» Восточной и Юго-Восточной Азии, опыта японского «неомеркантилизма» и китайского «рыночного социализма», в самое последнее время — достижений ряда стран Латинской Америки такая постановка вопроса уже не кажется натяжкой.

В самом опыте российских модернизаций наличествуют такие фрагменты развития, которые могут быть лучше объяснены сквозь призму цивилизационного своеобразия России, чем при опоре на европейскую методологическую перспективу. Это относится, в частности, к таким «возмущающим» моментам, которые связаны с нарушением взаимодополняющего равновесия между процессами экономической и социально-политической модернизации. Их можно обнаружить, например, в политическом курсе Александра III, когда институциональная «подморозка» страны, усиление консервативных начал в политике и идеологии режима обернулись наиболее впечатляющими результатами в области экономической модернизации³. Заметим, что и «система Витте», и проект столыпинских аграрных преобразований, по существу, не порывали с традиционалистской перспективой — более того, виделись в новых условиях скорее рецептами ее спасения, чем разрушения. Наконец, самый «неудобный» для концепции европейской модернизации России сюжет — это Октябрьская революция 1917 г. Констатация ее *антимодернистского характера* как результата

своеобразного модернизационного «надрыва»⁴, возможно, хорошо укладывается в европеистскую модель российских модернизаций, но никак не объясняет последовавшего за пореволюционным хаосом нового, еще более энергичного модернизационного «рывка», спроектированного и реализованного большевиками. В этом свете «миро-системная» модель, трактующая Октябрь 1917 г. как *одно из первых «национально-освободительных восстаний»* периферии и периферии «миро-системы» против ига ее «центральной зоны»⁵, выглядит гораздо более релевантной. В рамках этой модели, учитывающей логику *мировой борьбы*, первопреходческие попытки советской России построить собственную, независимую от Запада миро-политическую систему обретают характер своеобразной *цивилизационной эмансипации*, не порывающей в то же время с целями модернизации.

Обзор существующих подходов к цивилизационному измерению российских модернизаций будет неполным, если не упомянуть весьма распространенных (особенно на Западе) попыток «ориентализировать» понимание русского исторического процесса, а вместе с ним – феномена российских модернизаций, подтягивая их к противоположному Европе цивилизационному «полюсу» – азиатскому. Азиатское здесь не отождествляется с какой-либо из конкретных цивилизаций Востока (исламской, китайско-конфуцианской и т.п.), но, скорее, предстает в виде концептуализированного образа застойного и исходно антимодернистского общественного организма, конституированного в рамках т.н. «азиатского способа производства». Как отмечает Дж. Хаф, наследие «азиатского способа производства» прочнее всего связывалось с особенностями развития стран «третьего мира», однако, начиная с работ К.А. Виттфогеля, многие черты этой общественной системы (деспотический централизм восточного типа, коммуитаризм, сильная бюрократия, гипертрофированная роль государства в организации экономики) стали напрямую отождествляться с изначальной цивилизационной «матрицей» русского общества и государства⁶. Данная концепция искусственно сужала спектр модернизационных изменений в России до эскалации демиургической роли государства (как, в сущности, единственного агента модернизации), которая в этом смысле оставалась почти неизменной от времен Московского царства до эпохи советского «тоталитаризма»⁷. Согласно этому взгляду, в силу того, что русское общество представляло собой лишь пассивную протоплазму процесса и, по большому счету, никак не включалось в него, насильственные модернизационные изменения зачастую становились *контрпродуктивными* (как в случае усиления закрепостительной политики в ходе реформ Петра I). Это же, в свою очередь, требовало постоянного возобновления и реформатирования модерниза-

ционной «повестки» при сохранении ничтожной ее результативности и принципиальной *нереформируемости* русского общества.

Очевидно, что эта палитра точек зрения совокупно, но, разумеется, в разных пропорциях улавливает существенные особенности *цивилизационного контекста* российских модернизаций, хотя и не обеспечивает их сведения к одной-единственной непротиворечивой концепции. В этом смысле, репрезентируя исторические объекты и состояния, каждая объяснительная модель отмечена слабостями упрощения и идеализации, так как включает в себя лишь то, что считается существенным как раз в ее собственных рамках. Если признать, что моделирование, в сущности, базируется на попытках установить, на что похожа данная общественная система, то моделирование *цивилизационного облика* России, конечно, запечатлевает в себе и Запад, и Восток, и какие-то их совмещенные проекции. Выход из этих методологических трудностей, по-видимому, необходимо искать в какой-то иной «точке отсчета», чем попытки измерить степень проявления в историческом развитии России различных *цивилизационных влияний*.

Выходом из этих методологических затруднений могло бы стать обращение к исходным генетическим основаниям российской цивилизации, которые, на наш взгляд, следует искать в своеобразии сочетания ее культурного прототипа и той *географической сцены*, на которой он отливается в прочные устои цивилизации. Разумеется, не одна только природа способна формировать модальность той или иной культуры, однако в случае России как страны, которая, по меткой мысли В.О. Ключевского, раскрывает основное содержание своей истории именно в процессах колонизации бескрайних равнинных пространств Евразии⁸, географический фактор играл совершенно особую, если не определяющую, роль. В современной российской историографии уже предпринимались интересные и продуктивные попытки оттолкнуться от географического базиса русской истории в понимании ее социально-институциональных, экономических, политических и культурных особенностей. В этом отношении необходимо указать на весьма неординарную по богатству выводов работу Л.В. Милова, в которой из природосообразности повседневного бытия русского крестьянина выводится сложнейшее сцепление взаимозависимостей, детерминировавших специфику эволюции государственно-политического и социального строя России⁹. В данной работе не ставилась специальная задачи определения цивилизационной идентичности России, однако она проясняет многие из тех обусловленных природно-географической средой деформирующих и тормозящих факторов, которые, по крайней мере, заложили водораздел между исто-

рией Западной Европы и историей России. На наш взгляд, автором была вполне верно — без явных уступок грубому географическому детерминизму — схвачена специфика связи между географией и историей.

Специфику этой связи адекватно способен выразить *геополитический метод* анализа. По существу, данный метод подразумевает наличие некоего геополитического «кода» территории, который можно определить как коренящийся в ее свойствах *структуральный* инвариант социально-организующей деятельности, неизменно наследуемый через сменяющиеся здесь друг друга общественно-исторические формы — в том числе и такие, которые генетически не связаны друг с другом. Акцент здесь переносится с предметно-фиксированных «элементных» характеристик исторических обществ на *реляционные* свойства соответствующих им социальных систем, а это означает, что геополитический «код» улавливается не через нахождение частных соответствий между элементами географической среды и историческими явлениями, но через целостный, структурно-определенный *образ социальных действий*, заданный «правилами» и «ресурсами» всего комплекса географической среды. Иначе говоря, для исторических обществ, вышедших из полной подчиненности природе, т.е. находящихся на более или менее зрелой стадии развития и обладающих устойчивым культурным прототипом, новый для них комплекс природно-географических условий не создает ничего заново в их культуре, но, скорее, видоизменяет траекторию развития и соотношение отдельных ее сторон.

Если не считать прозрений Н.Я. Данилевского о грядущей мировой роли «славянского культурно-исторического типа», то несомненно, что первую попытку определенно приписать России посредством геополитической категории «месторазвитие» *самостоятельную цивилизационную идентичность* предприняла школа «евразийцев». Рассматривая Евразию как *основную арену* развертывания российской истории, «евразийцы» явно абсолютизировали значение *геополитической преемственности* между чередой номадических цивилизаций евразийских степей и Российской империей, усматривая как раз в этом подлинную *цивилизационную сущность* России-Евразии. На этой почве возникли и скороспелые представления о «славяно-туранском» синтезе как культурном прототипе российской цивилизации.

Наиболее выдающиеся представители «евразийства», в частности, П.Н. Савицкий, видели известную слабость и полемическую неуравновешенность этой позиции¹⁰. Геополитическая преемственность Российской империи с державой Чингисхана или Золотой Ордой и *циви-*

лизационно-историческая преемственность (которая имеет несомненные византийско-киевские корни) — это, конечно, не одно и то же. Решающий фазис превращения Московского государства в Российскую империю как государственно-политическую основу полнокровной и самобытной цивилизации по времени совпадал с общен историческим упадком номадической цивилизации, когда-то господствовавшей в центральной зоне Евразии. Наиболее жизнеспособные осколки последней (Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское ханства) получали возможность временной стабилизации, но уже в рамках принципиально иной геополитической структуры — на важнейших торговых путях, ведущих по крупным рекам в приморские части континента, и на границах степи с земледельческо-лесной зоной оседлости. Подобную тенденцию смещения центров развития к окраинам Евразии мы наблюдаем в это время и в других частях ее периферийного «пояса» — в Малой Азии (турки-османы), Средней Азии (державы Тимура и Шейбанидов), Северном Китае (маньчжурское завоевание). Однако, в отличие от этих государственно-политических образований, утверждавшихся на окраинах Евразии как результат «оседания» кочевников-завоевателей и формирования на этой основе ряда синтетических «постномадических» культур, Московское государство в своем территориальном «ядре» отчетливо продолжало сохранять черты более развитой и политически самостоятельной *европейской «периферии»* Евразии, являясь одновременно отдаленной северо-восточной периферией Европы. Вероятно, именно поэтому инициатива «реконструкции» евразийского пространства на новых хозяйственно-политических началах перешла к Русскому государству. В данном контексте, конечно, правильнее видеть в этом переходе к освоению Евразии не последствия *синтеза* Московской Руси и Золотой Орды (вместе с ее «царствами-наследниками»), но *постепенное замещение* господства последней господством первой в результате завоеваний и колонизации. Во всяком случае, если элементы синтеза в этом процессе и присутствовали, то они не были определяющими. Многие из того, что обычно рассматривается как результат культурного синтеза, на самом деле, должно трактоваться, скорее, как культурное *копирование* или «уподобление», абсолютно необходимое на определенном этапе для осуществления эффективной обороны от набегов кочевников (феномен казачества)¹¹. Вместе с тем, по-настоящему эффективное и прочное утверждение России на евразийском пространстве могло состояться только на базе *нового способа хозяйствования и новой оседлой культуры*. Последовательное расширение периметра оборонительных линий и зоны земледельческого освоения, транспортное использование речных артерий и развитие опор-

ной сети городских поселений составляли важнейшие элементы этого цивилизационного переворота в развитии Евразии.

В свое время американский геополитик Н. Спайкман определил траекторию развития Евразии как грандиозную историческую трансформацию ее степных пространств из зоны, обладавшей *беднейшим экономическим потенциалом*, в зону, обладающую *высочайшими экономическими возможностями*¹². Величайшая часть этой исторической миссии безраздельно принадлежит России. По существу, если говорить о модернизации как о своеобразном лейтмотиве российской истории, то следует признать, что еще задолго до петровских реформ Россия, фактически, приступила к чрезвычайно растянутому по времени и колоссальному по трудности процессу «модернизации» — не столько самой себя, сколько открывшегося ее исторической инициативе необъятного евразийского пространства. Модернизация трафаретно связывается в наших представлениях с историческим переходом от традиционного в своих основах аграрного общества к современному, индустриальному. Однако, переход обширных пространств Евразии, знавших, по существу, только экстенсивное кочевое хозяйство и примитивные присваивающие формы экономики, к *новой ступени исторического прогресса* — к аграрному способу производства и зачаткам городской культуры видится не менее масштабным «модернизационным» процессом, чем переход к индустриальной стадии развития. Другое дело, что результаты этого процесса не имели концентрированной формы выражения и оказались, фактически, «растворены» в затяжном аграрно-колониационном движении, полное завершение которого, как ни парадоксально, следует относить только к 1950-м гг. — к эпохее освоения целины. На наш взгляд, это историческое движение во всем противоречивом единстве тенденций прогресса и торможения формировало основы *российской цивилизации* как особого — *геосоциального* — ответвления цивилизации европейской — примерно такого же, каким является, например, Северная Америка по отношению к Европе.

К американскому опыту трудно применять классические определения модернизации, потому что Америка изначально формировалась и развивалась как максимально свободный от наследия прошлого *модернистский проект*; для России это также трудно сделать, но совсем по другой причине — потому, что условия ее «месторазвития» создавали *консервативный* перевес принудительных военно-политических форм организации пространства над элементами его свободной экономической самоорганизации. В этом контексте как поиски явной «азиатчины» в особенностях протекания российских модернизаций, так и поиски какого-то специфического «евразийского» куль-

турного содержания в российской цивилизации в значительной мере обесмысливаются.

Более продуктивными для понимания российской цивилизационной идентичности нам видятся попытки совмещения двух перспектив — *модернизационной* и *колонизационной*. Последнюю, однако, также нельзя считать чем-то однородным. Между тем, что Америка *возникла* в ходе *свободной* колонизации, и тем, что Россия *проводила целенаправленную* колонизацию, угадываются глубокие различия в последствиях обоих процессов. (Вовлеченность сильного государства в масштабные колониционные предприятия вообще неплохо объясняет мощный перевес традиционалистских элементов над модернистскими при проведении модернизации). Евразийский компонент при этом не утрачивает своего значения для понимания цивилизационной идентичности России — но скорее как *геополитическая реальность* и характеристика «месторазвития», чем как самостоятельная культурная сущность. Евразия в этом смысле предстает перед нами не как гибрид Европы и Азии, а скорее как российский «Новый Свет». Этот подход, намеченный в свое время коллективом авторов под руководством академика В.В. Алексеева¹³, думается, заслуживает дальнейшего обсуждения.

Примечания

1. См.: Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2-х т. 2-е изд., испр. СПб., 2000. Т. 2. С. 295—303.

2. См.: Симония Н.А. Традиционные факторы и социальный прогресс // Азия и Африка сегодня. 1985. № 10. С. 26.

3. См. об этом: Зубков К.И. Россия в царствование Александра III: геополитика национальных целей // Россия в царствование императора Александра III. Сб. материалов научной конференции к 150-летию со дня рождения Императора Александра III. — Екатеринбург, 1995. С. 26—38.

4. Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 296—297.

5. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М., 2003. С. 18.

6. Hough, J.F. The Struggle for the Third World: Soviet Debates and American Options. Wash., 1986. P. 36—41.

7. См., напр.: Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, 1957.

8. Ключевский В.О. Сочинения: В 9-ти т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. I. М., 1987. С. 50.

9. См.: Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998.

10. См.: Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997. С. 307.

11. Зубков К.И. Геополитический и цивилизационный прафеномен России // Региональная структура России в геополитической и цивилизационной динамике: Доклады. Екатеринбург, 1995. С. 39.

12. Spukman N.J. The Geography of the Peace. N.Y., 1944. P. 38.

13. См.: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI—XX века. М., 2004.